



Алексей КОВАЛЕВСКИЙ

НЕОХВАТНЫЙ СЕНТЯБРЬ

Алексей Владимирович Ковалевский родился в 1955 году в пос. Юрьевка Луганской области на Украине. Служил в рядах Советской армии, работал журналистом. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького, с отличием защитив дипломную работу по русской поэзии. Поэт, критик, переводчик. Автор двух десятков книг, в том числе на русском языке. Печатался в журналах «Литературная учёба», «Радуга», «Киев», альманахах «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «Алтарь», «45-я параллель», газетах «День литературы», «Литературная Россия» и др. Лауреат четырёх литературных премий. Член Национального Союза писателей и Национального Союза журналистов Украины. Живёт в Харькове.

*Слава тебе, поднебесный
Радостный краткий покой!
Солнечный блеск твой чудесный
С нашей играет рекой,
С рощей играет багряной,
С россытью ягод в сенях,
Словно бы праздник нагрянул
На златогривых конях!
Радуюсь громкому лаю,
Листьям, корове, грачу,
И ничего не желаю,
И ничего не хочу!
И никому не известно
То, что, с зимой говоря,
В бездне таится небесной
Ветер и грусть октября...*

Николай Рубцов. «Сентябрь»

Если вдумываться в глубину содержательной части стихотворения — то что в нём из кладовых непреходящего смысла? Из заповедных ноосферных сокровищниц. «Радостный краткий покой»? Ну, чего проще... хотя и прячет в себе некоторые начальные, близлежащие основы

«философского взгляда на мир». А может, откликнутся, что-то ответят сознанию на его «проклятые» вопросы, на неприкайные состояния концевочные строчки? Посмотрим — в который раз:

*В бездне таится небесной
Ветер и грусть октября...*

Вряд ли и это катарсисно. Никаких откровений, распаханности для мысли, вознесения к «перистым облакам» духа. Ничего существенно и искомо высокого, чтобы насытиться, забыть обо всём и одновременно всё вспомнить — до мелочи и запредельной неохватности. А ведь как часто этого хочется, и мы ищем, ищем этого в стихах.

В первой строчке из двух вышприведённых — куда ни шло, действительно чудится намёк и ожидание: что же, что же там укрывается, а может, и ждёт нас? «В бездне таится небесной...» Напряжение нарастает, кульминация близится — итак? Что увидел поэт в солнечном зените своим зрением, что ощутил «вещим» чувством, художественной интуицией? Как ни изошряться — «ветер и грусть октября...»

А не играют ли нами, подумай. Не зашёл ли автор в «ту область небес», ему органически не присущую, откуда не может достойно выбраться? Вот и улыбается смущённо, будто предлагая сменить ожидание открытий на

смирение, на печальную и напоённую светом грёзу, на привычное понимание нашего песчиночного, человеческого места во Вселенной — в этих вот сенях, у этой речки и рощи, в терпкой тишине и осиянности сельской обыденщины с её лаем собак и коровьим мычаньем.

Не иронизирует ли поэт над целым непостижным, а возможно, и весьма простым, как окружающая нас видимость, мирозданием? Над самим замыслом Божьим о нас, никому в пламенеющих бездоньях космоса будто бы и не нужных?

Да, и такая нотка иголкой покалывает плоть стихотворения.

Но ему, стихотворению, мало дела до этих покалываний. Оно о другом. Оно всем своим составом оптимистично и головокружительно гармонично. Самодостаточно. В нём ни капли поэтической вычурности, никакой заносчивости и претензии на «высоколобость» — а ведь хватает в нас всякого, особенно когда упоены собой, тем сладостным и мучительным мистерийным грохотом громов и полётом молний, которые сотрясают нам черепные коробки, сердца, души...

Ничего «люцифериянски блистающего» у Рубцова нет. Весь он в своём «Сентябре»: и слава, и благодарение, и благословение. Весь — любовь, приятие таинственности и явленности бытия. Весь — трогательная грусть по

поводу изменчивости, неустойчивости торжественных настроений и в нас, и в природе, и там, где всё-всё и всех-всех уже подстерегают «ветер и грусть октября».

Пусть подстерегают. Октябрь тоже прекрасен, и случается, что не все листья улетают с деревьев в течение этого светлого, до слёз проникновенного периода нашей краткой и радостной — да, что бы там ни было, радостной! — частички вечности, дарованной нам кем-то.

*Слава тебе, поднебесный
Радостный краткий покой!*

Поразительно ёмко. Невыразимо глубоко и дорого.

НАД СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ

1. Ни в чём не слабый

Подробности личной жизни — тем более на уровне обыденных человеческих слабостей — для Юрия Кузнецова в стихах были неприемлемы. В довольно продолжительном разговоре с ним, без официоза и непреодолимой дистанции, я как-то горько уловил это и чуть ли не посочувствовал ему, гордому, вслух.

Ведь пишем — исповедуясь, делись сокровенным, да порой просто освобождая душу от тягот проговариванием их.

А тут сознательное конструирование себя, своего поэтического

мира. Грандиозное, вселенское, но ведь руками, ну, может, и не руками, однако «механические» усилия всё равно видны.

Жаль. Мне кажется, что он так и не умягчил себя, не утешил своё сердце тихой лирической исповедью, светлыми слезами вольного самовыражения, не стеснённого собственным кредо. Титан и пахарь. Ни в чём не слабый человек.

Писал «от души» он только вначале. Но потом понял, что успеха можно достичь лишь по специальным технологиям, придумывать которые заставляет само время, густо заселённое «поэтами». Будто предчувствовал и предвосхитил сегодняшних, сделанных пальцами в татуировках и перстнях. Сейчас ведь, чтобы быть замеченным и составить себе имя, нужно творить по лекалам. Но уже не интуитивно найденным, а наштампованным для вполне широкого употребления. Только пиши.

Да вот закавыка — далеко не каждому так хочется. Особенно после того, как лекала стали застругивать на совсем уж открытую мерзость. А не на чистоту — естественную среду обитания подлинной поэзии.

2. Спасибо столичной цензуре

Гражданственность у Кузнецова переведена в плоскость мифа, глубокой русской бытийной

символики; она необычайно расширила восприятие и понимание Родины, духовных корней и устремлений человека, самой истории и в целом гражданской лирики.

«Знамя с Куликова», «Сказание о Сергии Радонежском», «Тайна славян» и множество других стихотворений подобной тематики, а, собственно, она и презентует почти всё творчество поэта, — кто будет против такого патриотизма и историзма в стихах?

А то, что они насквозь мистичны, советской цензуре, хоть и с трудом, пришлось проглотить. Тем более, что цензуре столичной это было сделать легче, чем какой-нибудь региональной, до мозга костей перестраховочной и трусливой. Столичная допускала, для первостепенных поэтов особенно, поблажки и значительную творческую свободу.

В провинции же такой поэт не развился бы, не вошёл в свою меру, более того, если бы хоть чуть-чуть проявился — тупая, примитивная, обкомовская идеология сожрала бы, умучила, извела до положения изгоя и местного сумасшедшего.

«Поэт должен жить в Москве», — обронил Кузнецов. И с ужасом, наверное, думал о том, что было бы с ним, останься он навсегда в своём «родном» Краснодаре. Почти ничего бы не было.

Почти никого. Только тяжёлый вздох ветра над пустым, незамысловатым ландшафтом, застуженным солдафонами режима.

А так мы можем сказать спасибо не только поэту за его мужество, но и столичной цензуре — правда, тут не очень понятно: то ли тоже за мужество, то ли за мягкотелость...

3. Возможности поэзии

Кузнецов был носителем интуитивного, приходящего озарениями знания; преподавать его трудно; поэтому семинар, который поэт вёл в Литинституте, для носителей знания осязаемого, трёхмерного был чужероден, непонятен, а особо «продвинутым» казался чуть ли не примитивным. И некоторые семинаристы уходили, другие оставались, но благоговением к учителю, пониманием тех непередаваемых посылов, которые он давал в своём слове с семинарской кафедры, проникались всё равно немногие.

Работая в региональном издательстве, я как-то предложил Кузнецова в качестве рецензента одной поэтической рукописи. Было это в 1985 году, через несколько месяцев после моего личного знакомства с поэтом, которое произвело на меня, конечно, очень сильное впечатление.

Долго дозванивались — в Москву из Харькова, просили — это

делал заведующий: ему тоже стало интересно, что напишет известный поэт, хотя тяготения к его творчеству он и не испытывал. Рецензию пришлось ждать несколько месяцев, время от времени напоминая поэту о ней. Наконец, она пришла. Да, неординарная, с неповторимыми особенностями кузнецовского мышления и художественных пристрастий, но не выдающаяся. Очевидно, для него самого — рутинная. Как он всем этим, наверное, тяготился — рецензированием, преподавательством, службой вообще, как это всё отвлекало его — от себя...

Даже предисловие к своей книжке, изданной «Молодой гвардией» в серии «Библиотека избранных стихотворений» в 1990 году, получилось у него скованным и пунктирным, хотя и насыщенным некоторыми важными тезисами и наблюдениями над состоянием современной поэзии. Чего стоят одни инвективы по поводу «одичания метафоризма», в котором, по мнению поэта, она погрязла. До сих пор эта мысль не подхвачена и не исследована критиками и литературоведами, и скорее всего потому, что они не готовы работать в подобной плоскости, все их традиционные представления и инструментарий слабы перед нею, а ведь здесь целое направление возможностей открывается.

...Возможности поэзии — это и было главным знанием Кузнецова.

И когда реальный или мистический мир бросал в их бездонные воды свой камешек, возникали стихи. Возникали и мысли по поводу этих стихов, но передавать такие мысли во всём их объеме, думаю, человечество ещё не научилось. И вряд ли научится.

Один интеллеktуал о профессоре Литинститута Кузнецове едко заметил: «Чему он может научить? Ему самому учиться надо». Святая простота.

ПРИДИРАЯСЬ К БРОДСКОМУ

Тяжеленный слог, с провалами вкуса, игрой и размытостью смысла. Фикция, имитация переживания, поэтическая неестественность — в каждом затянутом или даже коротком произведении.

Точка всегда обозрима в конце прямой.

Что это, как не оригинальничание, не псевдозначительность? И всё стихотворение — на расстоянии вытянутой руки от подобных определений. Приведу его полностью:

*Точка всегда обозрима в конце
прямой.*

*Веко хватает пространство,
как воздух — жабра.
Изо рта, сказавшего всё,
кроме «Боже мой»,*

*вырывается с шумом
абракадабра.
Вычитанье, начавшееся с юлы
и т. п., подбирается к внешним
данным;
паутиной окованные углы
придают сходство комнате
с чемоданом.
Дальше ехать некуда. Дальше не
отличить златоуста
от златоротца.
И будильник так тикает
в тишине,
точно дом через десять минут
взорвётся.*

«Вычитание», «внешние данные» — здесь этой «прозы» ещё немного, в некоторых строфах знаменитого «Осеннего крика ястреба» сквозь неё вообще не хочется продираться: обвисшие нити сюжетного шитья, избыток подробностей, а то и плоскоинского сора, рваные контуры идеи, рассудочность и описательность в одном флаконе, причём на грани занудства. И всё это претендует на философичность, притчевость, бытийное откровение. Нерусская ментальность, которая с заводной, механистической изобретательностью говорит русскими словами о мелочах, русского мало интересующих.

Кстати, почему дом-то взорвётся? Ничего подобного контекст вроде не предвещает: угасание — да, но не взрыв. Очевидно, что взрыв здесь просто притянут ради

двух эффектных заключительных строчек. Хороших, выразительных. Не в пример «паутиной окованным углам»...

Думаю, столь «раскрепощённое» письмо и то отношение, которое это письмо с самых первых своих витиеватостей к себе задаёт, — уровень не совсем классики. Она лепится из чего-то другого. Не из разрежённого воздуха. Не из вяловатого, сибаритского состояния души, которое поэт будто с трудом и высокомерно преодолевает, кладя на бумагу широкие прозаизированные сообщения или неуклюжие сентенции, как в случае с точкой в конце прямой, приведённом выше.

Ты говоришь, мой оппонент, что читателей у Бродского множество и что они к нему по-другому относятся? Соглашусь. Сам несколько стихотворений в минуты прежних увлечений посвятил ему. Но это, кажется, прошло.

Надолго ли — не ручаюсь.

«ДОМОЙ!.. ДОМОЙ!..»

1. На задворках

Вспоминается Егор Исаев. О своём «онтологическом антиподе» Р. он чуть ли не выкрикивает нам, своим семинаристам в Литинституте:

— По губам бы этим!

А ведь уже всеми званиями и наградами превзошёл «недруга»

— стал лауреатом Ленинской, Героем Соцтруда и т. п. С чего бы яриться?

Конечно, то не зависть была, а предощущение загнанности на задворки — и своей, и всей коренной отечественной поэзии. Да если угодно — поэзии вообще, как он её разумел. «В мировом масштабе». А разумел ведь неплохо: реальную издательскую дорогу в Москве именно он дал Рубцову — этому «Смердякову русской поэзии», как его в открытом раже называли в лихие девяностые некоторые духовные и литературные сородичи Р.

...Не помню, жив был ещё Брежнев или уже взялся за гуж Андропов, да это и не важно, выхрип-то, выкрик был поверх «барьеров» — над текучим, изменчивым и вечно обманывающим нас временем:

— По губам бы этим...

2. Общим ощущением

Говорят, в Переделкине кур выращивал. Другие твердят, что был, как и прежде, неугомонным поэтом-фронтовиком. С далью памяти и неиссякаемым темпераментом творца, активиста, преобразователя жизни хотя бы и на самом малом её клочке.

Поехать было бы, увидеть, услышать через столько лет. Сдерживался. Да и то: учителя, которые в свою сторону подворачивали, ещё неизвестно, как

воспримутся в зрелом возрасте.

И вообще, что с поэтами говорить? Их читать нужно. Его читаю редко. Хватает того, что всегда помню. Строчками, строфами, а главное и неотменяемое — общим благодарным ощущением. В первой моей книжке — его предисловие.

— *Домой!.. Домой!.. —
А я всю жизнь из дому.*

Это из лучшей его поэмы. Просто, а всё новыми смыслами обрастает: что-то меняется внутри нас, и жизнь «подбрасывает» извне, щедро и испытующе-жёстко. Он же теперь — далеко. Вернулся домой? Или ушёл ещё дальше?

СЛИШКОМ ЛИТЕРАТОР

Современному поэту нужны ориентиры, к которым легче и естественнее подступиться, взять что-то от них. Вот и выдумывают некоторые, как Максим Амелин, что «наше всё» не Пушкин, а Державин, что именно из Державина развернулся весь цвет последующей русской поэзии: Баратынский, Тютчев, Есенин, Цветаева, Заболоцкий, Мандельштам, Пастернак, Бродский...

А ведь Державина порой и читать невозможно: да, мощь, но и безвкусица рядом, глубина и несущественное, утомительно-описательное соседствуют без зазрения совести. «Жизнь званскую»

пробовали читать? Чуть ли не треть подлежит «сокращению». У Пушкина этого нет. Он ровен, гармоничен, материала отбирает столько, сколько нужно. У него прекрасный литературный язык, пусть и на стадии оформления. А у Державина речь тяжела, архаична, и может, лишь поэтому корневые гулы в ней кажутся более глубокими, отзываются более протяжёнными архетипическими воспоминаниями и клёкотами.

Пушкин — поэт, литератор в чистом виде, а Державин — поэт в бытийном, чащобно-дремучем и древнем смысле этого слова. Человеческому определению почти не подвластном. Не потому ли среди первостепенных поэтов так мало явных последователей Пушкина, тогда как преемственность от Державина кажется столь широкой и разнообразной? Но это преемственность всё-таки просто от самой жизни, а не литературы, тем более такой полётной и изысканной, которую видим у Пушкина, «солнца русской поэзии».

Да, по вершинным надо судить, но и лёгкую салонную блистательность, и грацию, и восхитительную литературную игру как самоцель у последнего не отнять, особенно в ранние периоды...

«Весёлое имя Пушкин». Блок и это, наверное, имел в виду. То, что Пушкин слишком литератор. О Державине так уже не скажешь.

СРАЗУ ИЗУВЕРСТВОВАТЬ

*Его толстые пальцы, как черви,
жирны,
А слова, как пудовые гири,
верны,
Тараканы смеются усища,
И сияют его голенища.*

С первого прочтения не разделял восторгов по поводу этих стихов. Они не органичны для Мандельштама. Будто влез не в свои сани — и его понесло по кочкам какой-то причудливой политической «чукоккалы», мстительной злобы дня, одурманившей чувства и разум.

Одно это чего стоит: «Мы живём, под собою не чуя страны». Сколько какофонии, самоуверенной приблизительности, двусмысленности! Как ты её должен чувствовать под собой, страну-то? Голым, что ли, животом навалясь? Почти в каждой фразе стихотворения не звон, а обволакивающий туман, они рождаются в расфокусированном художественном сознании, и в чёрно-белом формате эпохи, между молотом и наковальней, подозрительны даже для психиатров, а не то что вождей.

Но вождь-то у нас был немного стихотворец. И засомневался, загнулся вдруг, будто постарался взглянуть на щуплого, нервного иудея пошире. По крайней мере, не расстрелял сразу, а дал время пожить. Чтобы и повоспитывать, и иметь полностью неоспоримые

доказательства для себя и для общества: туман, велеречивость, смутность стиля — от неполадок в голове Мандельштама, от расшатанности заклёпок. И дело тут как сугубо индивидуальное, так и, конечно, этноментальное, а значит, «политическое»; то есть 37-й год для страны будет никак не лишним. Вон сколько их, этих неуправляемых мандельштамов, развелось...

Наверное, неплохо разбираясь и в логике, и в алогичности стиха, в его цельности и хаотичности, общую магию мандельштамовского слова Сталин тоже чувствовал; но уж её тайна тирану, извините, вряд ли была доступна. «Он же мастер? Мастер?» — допытывался у Пастернака, а тому подобный разговор с вождём и глыбой виделся мелким, и он хотел побеседовать непременно о вопросах вечных — о жизни и смерти. Эх чего захотела мышь от кот! Чудаки, ей-богу, все «еврейские» поэты...

Время, каких-то три-четыре года, подтвердило правоту Сталина.

Конкретная судьба Мандельштама оказалась куда как красноречивой: в лагерях он был уже явно психически больным. Так и сгинул — бормоча всё новые бесвязные строчки.

Легче вздохнулось сталиному монстру? Засмеялся он счастливо и тараканьи?

Что ни казнь у него —

то малина

И широкая грудь осетина.

Может быть... А мне вот, не смотря на всю эту жуткую историю, всё равно кажется, что в стихотворении «Мы живём, под собою не чуя страны...» маловато настоящего Мандельштама, да и вообще большой поэзии. «Оступился» автор, с кем не бывает, на самом деле он другой, и надо было бережнее с ним, а тут такой век, такие нравы: чуть что — и сразу изуверствовать, растаптывать.

НЕИЗВАННАЯ СИЛА

Шкляревский. «Дрожал июнь...» Вспоминаю, и туманятся глаза. А сколько других прекрасных стихотворений.

Где-то затёрся, потерялся в новом времени? Такой поэт! Что-то сужающееся до миниатюр проскальзывает в ЖЗ, но это лишь воспоминание о прежней лирике, живое, трогательное, но уже подсушенное, не первого чувства. Канули в дымку Кричев, Могилёв, стоит перед мысленным взором увядающая Елена, молодой и бодрый друг Станислав ушёл от природы, занят исторической затхлостью, неизванная сила оказалась то ли обманом, то ли просто отвернулась.

Как жаль, что всё уходит!
Даже это, даже такое.

Пусть эхо донесёт к вам сло-
ва благодарности и любви, Игорь
Иванович!

Процитирую по памяти:

*Дрожал июнь, и ночью лунной
Травой холодной и длинной
Я шёл к реке с тобою, юной,
Как будто в песне той
старинной.*

*И был мой голос необычен,
Когда отважился звенеть,
Что каждый человек трагичен,
Ведь каждый должен умереть.*

*И ты, как девочка босая,
Слепца ведущая домой,
Тревожных слов не понимая,
Была тревогою самой...*

Когда это вошло в сердце, мне
было, наверное, семнадцать. И ро-
сные травы чистой родины замер-
цали во мне глубже и отзывнее, и
то, что не выразить словом, при-
открылось, будто готовое назвать
себя и доверить сокровенное. Не
дразня, а взаправду.

Дрожал июнь...

ЧТО ОСТАНЕТСЯ

Время идёт, а ничего или
почти ничего нового, поштучно
входящего в душу, не создаётся.
И Кошель с его «Дзе маці? Дзе
бацька?» и ещё двумя-тремя де-
сятками стихотворений вырастает

из шелухи и дыма в литературе,
обретает имя, уже в ней не слу-
чайное, не отменимое, явленное
подлинными, а не мнимыми по-
рождающими силами.

*Дверь отворяется, входит отец:
— Дзе маці?*

*Дверь отворяется, входит мать:
— Дзе бацька?*

*И так они ищут друг друга,
ищут,
а вьюга свищет вокруг
и свищет,
и стены хаты дрожат
от ветра.*

Отец мой Женя и мама Вера.

*Дверь отворяется, входит отец:
— Дзе маці?*

*Дверь отворяется, входит мать:
— Дзе бацька?*

*На этом зябком горчайшем
свете,
один, не верующий в бессмертье,
стирая поздние злые слёзы,
стою и слушаю их вопросы.*

— Дзе маці?

— Дзе бацька?

Барачное детство, послевоен-
ная физическая изломанность,
внутренний, будто реинкарнаци-
онный, глубиннейший опыт та-
кой, что не до поэзии, но именно
она сама выступает ему навстре-
чу, даёт направление таланту — по
зыбкой насыпи, которая будто тут
же обрушивается за спиной, чтобы

шёл, не соскальзывая влево-вправо, шёл, не останавливаясь и не падая в окружающее кишасщее полубытие, в засасывающую жижу, где особо восторженно колготятся упыри и вёрткая немочь, не понимая, что с ними и где они, думая: всё путем, всё вершится нужным порядком, свет во тьме светит, и тьма нас не объяст.

А тем временем даже пьяный Огарышев, пропащий друг юности ничего не забывающего поэта, спит всё-таки не у болота, а на берегу Океана, на холодном ночном песке.

И далёкая родина — Беларусь — яснооко смотрит в лицо припадающему на обе ноги скитальцу Кошелю, в его славянское лицо, всё больше омрачаемое и дёргающеся от невыразимой боли.

*Сойти с ума,
И по Загорску,
Хромая и грозя перстом,
И, как поймают, плакать горько,
Слоноу собирая рукавом,
И, от усердия потея,
Кричать про близкую войну
Да хоронить на грязном теле
Косынку синюю твою.*

И скоро заберёт его, приамвонного стихослужителя, тема неожиданная — пытки и казни, сыск и террор в империи, хмурь вековая и жуткая, казематная. Будто он родился и для этого — чтобы описать исторический мрак, дать

ему зачем-то жизнь в точном, изуверски разностороннем и сухом, как пустыющие глаза, слове. Слове, которое обольщает и будто мстит самой поэзии, самой жизни — в поэте и человеке Петре Кошеле, во всех нас, с нашими небом и землёй, отцами и матерями. И думаешь: что это — труды в поте лица ради куска хлеба или загадочная, невообразимая эволюция лирика?

*Дверь отворяется, входит отец:
— Дзе маці?*

*Дверь отворяется, входит мать:
— Дзе бацька?*

Кожинов считал Кошеля одним из лучших, входящим в первые пять-шесть поэтов современности. По крайней мере, того времени, что недавно было и вот неумолимо отчаливает, отнимая у нас многое, но и оставляя кое-что — не подлежащее отъятию и забвению.

Держитесь, Пётр Агеевич, где бы вы ни были и какие бы пытки ни узнали... Ваши лирические строки тяжко смешаны и с мягкими чернозёмами, и с неласковыми суглинками, с плотью и кровью совсем не благодного, а страдающего и негодующего люда, — но они, эти строки, взмывают высоко.

Вопрос же, что останется: поэзия или дыба в мире, охваченном катаклизмами, — это, наверное, не к вам. К другим властям и силам.

ЧУДО ИСКУССТВА

Когда стихом водит логика, сухая авторская воля, это видно сразу. И чего-то значительного ожидать от поэта на этом заведомо не очень перспективном направлении не приходится. Сразу видно бывает и то, что в тексте царит самодовлеющая власть слова, что рифма, ритм, размер, взятая интонация, выбранные стилистические краски и оттенки диктуют сопутствующие изменения в содержании уже самого замысла, а тем более неотвратимо сказываются на его воплощённом, «окончательном» результате.

«Окончательном» в кавычках потому, что и зафиксированный, уложенный на бумагу текст устойчивых, «гранитных» форм не имеет, он меняется в восприятии каждого читателя, и сколько ни случится прочтений — в своих нюансах будет разным; собственно, это литературоведческая азбука.

При встрече с таким текстом лучше довериться его произволу, следить за причудами движения частностей к общему художественному целому, предвидеть, каким оно вытанцуется, что получится из этой уже немного извне, из «космоса» руководимой и развивающейся системы. Река стихотворения проходит через шлюзы, но остаётся рекой даже в них, а уж тем более — когда выходит на простор.

Конечно, обретенный из норовистого, вольнолюбивого текста читатель вынесет больше. Но и полагаться на то, что это будут эпохальные обретенные, не стоит: перед нами всего лишь зыбкая, живая, изменчивая ткань, которая могла явить себя и в таком, и в другом виде. Истины в последней инстанции здесь нет и быть не может.

Лишь мастера, превращая свою мощную волю и раскрепощённую, непокорную стихию поэтического слова в единое, взаимодополняющее действие, могут приближаться к истине. К огромной истине бытия. И к меньшей истине художественного текста — давать читателю как можно более полную правду жизни и подлинное, очистительное переживание чуда искусства.

«МЕСТЕЧКОВОЕ» ОЛЕГА ГОРШКОВА

*...вот лавка,
Где весело бранятся молотки
Жестяницыка, вот скрипочка,
заплавав,
Вновь разрывает небо на куски,
Вот рыночного дня картавый
идиш,
И тополь, что ютится у реки.
Оставь, входящий... ты уже
не выйдешь
Отсюда, всем надеждам вопреки.*

Стихотворение захватывает своей бесконечно многое вмещающей аурой — от бормотания

«смешного» сверчка за печкой до вселенской бесприютности «маленького» человека, которому на разрываемом по швам белом свете остаётся лишь тёмное гетто воспоминаний, обетованный омут одиночества, картавый ручей родной, спасительной и божественной речи, которую не убить никакими оврагами и ярами, никакой земной непогодью...

Сколько раздумий, ассоциаций, сколько сопереживания, сколько широкого воздуха поэзии, казалось бы, чрезмерно перегруженной подробностями, — но в том-то и дело, что они работают, — сколько тепла в самой ткани стиха, в его цигейковом, узнаваемом ворсе, в его волнующем дыхании.

И так всё это отзывается в сокровенных глубинах, что безоглядно-порывисто относишь стихотворение к единичным, лучшим в нынешних тусклых временах и непроглядных далях.

Такое вот локальное, «местечковое»...

Да! А чего это я так рассиропился? От славянской, украинско-русской, достоевской всеотзывности? Кто бы моим, пачками уходившим на тот свет, так посочувствовал. Не выдержал недавно, написал одному:

Дорога с вырубки

А.Б.

*Туман окутывает пни,
Всё ближе кладбища зевота.*

*Вон первый крест — за трудодни
Как будто расписался кто-то...*

Да ведь даже не задумается. Только своё видит. А на наше если и посмотрит, то холодно и втайне злорадно. Погибайте себе, так и не поняв, что вы пешки в чужой игре. И ваши слёзы здесь, на этом свете, созданном не для вас, совсем не в счёт.

ПОЭЗИЯ ГОРИЗОНТАЛИ?

У Марка Богославского, бывшего харьковчанина, уехавшего в Израиль и умершего там в пятнадцатом году, прочитал:

*Россия — родина печали.
Какая ширь!.. Какая даль!..
Поэзия горизонтали
Опровергает вертикаль.*

*Не отвергайте боль и трепет —
Живую сущность бытия,
Живое мыслящее время,
Ночь, звёзды, пенье соловья!*

*Где нету трепетов и вздохов
И где изъяты страх и стыд,
Там нет дыхания эпохи,
Там истина в гробу лежит.*

Удивительное стихотворение... О том, что Россия — это поэзия горизонтали, никогда не думал. Наоборот, ощущал её — с Тютчевым в ней, Георгием Адамовичем, Прасоловым, Кузнецовым, многими другими — вертикальной.

Обращённой к небу не «лёжа», а «стоя», вытянувшись вверх во весь свой гигантский рост.

Но есть, оказывается, и противоположное ощущение, иное мнение. И оно заставляет задуматься. В чём-то устоявшемся — закоснелом? — усомниться...

Хотя весь контекст этого стихотворения, довольно беглого, не сконцентрированного на заявленной мысли, лексически куда как не тонкого, позволяет полагать, что мысль-то эта вряд ли и выношена, тем более накалов убеждения никак не достигла. Скорее всего, брошена вскользь, да и родилась в каком-нибудь минутном, сумбурном порыве. Подобное бывает в стихах: обронил поэт словцо — стекляшку или драгоценность — и не заметил, не понял даже сам, что обронил в действительности.

А ты ломай голову, более того — перекраивай в себе что-то. Неважно, по мягкости своей и податливости. Не хочется, сопротивляешься, а оно перекраивается.

Стихия, брат, поэзия! Правда ли, ложь, но потряхивает землю под ногами. Не вулкан, а вулканчик, но достигает неба дымами...

Да, не огнём, всего лишь дымами.

СТИХИ В РОССИИ

*После раздела так же глуховато
И перспектива общая темна:*

*Поэзия у этих глуховата,
У тех — до примитивности умна.*

Написал это, давно написал, а вскоре у кого-то прочёл, что раскол, размежевание были логически, исторически, ментально предрешены, неизбежны. Однако вот загвоздка: и тут, и там, у этих и тех есть такие тенденции к крайностям, что поневоле вздохнёшь: нет, истина всё-таки посередине. И надо бы снова сближаться, а не расходиться вам, братцы.

Что, собственно, и делают, да и спокойно делали всегда, неортодоксальные литературные массы с обеих сторон, в отличие от их предводителей.

СЮР

Заявка, замах на издание первой книжки. «Жар-цвет». Обсуждение в СП. Всё же я представитель издательства, редактор художественной литературы. Поэтому — толерантны. Но не удерживется «не зависимый от издательства» критик Гельфанд-Бейн. Поэт Кац тоже, хоть и косвенно, не выдерживает, говорит о чуждой направленности, почти неприемлемости моих стихов для Харькова. «Терпеть не могу Тряпкина!» Это в ответ на то, кого я назвал из нравящихся мне современных (тогда, в 1986-м). И т. д.

Потом всё-таки выходит двухлистковая книжка, хоть и с предисловием Егора Исаева, лауреата и т. д., а с трудом, с проволочками, через шесть лет работы в «родном» издательстве, через четыре года после окончания Литинститута.

И в основном отправляется эта книжка в магазин «Поэзия», директор которого теперь в Америке — Марина, не помню уже фамилии. На видное место, как новинка, не выставляется, меня не приглашают выступить, я не из любимчиков этого специфического города; потом, наконец, остатки, а это огромная часть тиража, исчезают. По некоторым сведениям — списываются, идут в макулатуру. Поспешно и радостно.

Всё. Привет, моя первая книжка, до новых встреч, стихи «Летописец» («А чужой изворотливой мысли // Да погибнет змея у корней!») и вам подобные. Харьков вас оценил. Нас заметили, именно таким образом, и поставили на учёт. Чтобы навсегда знать, чего от нас можно ожидать. И упреждать по возможности и мою творческую активность, и ваш выход к более широкому читателю, а не только на тот задний двор, на котором, условно говоря, сжигали мою книжку имевшие здесь власть огромную. Да и сейчас имеющие. И тени их, и сами они бесновались в ритуальном танце вокруг костра...

Так мне видится порой. Но я всё ещё не усмехаюсь снисходительно, как надо было бы со временем, этому сюру, этим своим «беспочвенным» фантазиям.

КОМУ ПОВЕМ?

Почему харьковские телевизионщики ежедневно крутят интервью с заехавшим в город на часок Шендеровичем? А меня, лауреата четырёх литпремий, и мне подобных не подпускают к телезрителю на пушечный выстрел. Власть как-то странно последовательна в выборе: она и за Путина, и за его обличителя Шендеровича со всеми нашими либералами помельче, но вот только в любом случае против меня. За всем этим стоит, конечно же, принцип предпочтений не по политике, а по национальному и расовому признаку, по «нашей» и «вашей» крови. Чем не фашизм в действии? В «антифашистской» Харьковской области.

Мой случай особенно показателен... Ну не любите вы украинских стихов или вообще, допустим, украинской мовы, так у меня, кроме трёх тысяч стихотворений, на ней написанных, есть столько же — но на дорогом вам и мне русском. В чём, казалось бы, дело? Нет, и это не подходит. А вот был бы встроен в ваши очищенные от славян и другой воображаемой вами оппозиции структуры, как включён тот десяток харьковских поэтов, которые мне не интересны и не близки (не в последнюю очередь потому, что близки вам), — тогда пожалуйста. А так — знай своё место, ты

для нас никто, и зовут тебя... ну дальше по нардепу Чечетову. По всей бандитской идеологии ПР.

Кому повем печаль мою?

Февраль 2014 г.

ЭРА МИЛОСЕРДИЯ – ДАЛЕКО

Не понимаю, как можно думать, что не единожды убивавший, пусть и на войне, сможет заботиться о людях, воспринимать их жизнь как священную ценность. А ведь на травмированных убийствами, причём в ряде случаев травмированных неизлечимо, сейчас делают ставку многие в Украине.

Почему-то мне кажется это духовной катастрофой. Хоть и понимаю, что после Победы в сорок пятом фронтовики играли главные роли в мирном обществе — и получалось. Возможно, лучше, чем могло бы получиться у не нюхавших пороха.

Но всё равно сколько жестокости было, как долго она длилась, причём жестокость прежде всего не явленная, а латентная, которая таилась в мыслях, прорывалась в отдельных словах, создавала подспудную общественную атмосферу. Эта жестокость дошла и до нас, вступающих во взрослую жизнь в семидесятых. И мы неотчётливо, но понимали, откуда она: из массовых убийств революций и

Гражданской, из застеночно-чекистских расправ тридцатых годов, из двух голодоморов, из той же Второй мировой, а потом и холодной войн.

И кто при «застое» хотя бы в армии служил, немало чего может, наверное, вспомнить о категоричности и нещадности, которыми на какой-то момент, а то и радикально корректировались его представления о человечности и добре.

Нет, эра милосердия всё ещё далеко впереди. Некоторые «источники» даже говорят, что лет за пятьсот, не меньше.

ОСОБЕННОСТИ СЛУХА

Не просто идеи носят в воздухе, а даже сам язык их выражения. Для меня это здесь, в воздухе Восточной Украины, — украинский и/или русский.

Каким будет этот язык на определённом промежутке времени, зависит не только от политики властей, но и от внутренних движений людей, их всеобщих воодушевлений или, наоборот, подавленности.

Что такое был, например, Кучма, много ли в нём украинского, той же борьбы за «державну мову»? А вот именно при нём больше всего в своём творчестве я и писал на украинском. При Ющенко же все годы писалось почти только на русском. Парадокс? Простое

фрондёрство, сопротивление происходящему? Всё делаем из чувства противоречия, дорогая муза?

Ну а Кравчук, а конец восьмидесятых — начало девяностых? Это вообще был какой-то колоссальный подъём, пиршественное вкушание вин и соков украинской речи, её сердцевинной мякоти, божественных, пранических энергий. О, не сдерживаемся, моё слово, продолжим этот восторженный ряд! Это было счастливое время смотрения в сияющие бездны, в зенитные выси словно пробудившегося от спячки или вышедшего из тюрьмы на волю языка!..

Думалось, навсегда это состояние. Но постепенно пришли и другие настроения, появились ядовитые нюансы, общественное сознание стало пульсировать иначе. И деться от этого было некуда, по крайней мере такому «слуховому устройству», какое наличествует у меня.

А сейчас, в постмайдаанные депрессивные годы, оно вообще воспринимает только смятение и какофонию. Причём как здесь, так и везде, кажется, — в России, в мире в целом.

Ума бы, скажете, к такому слуху, чтобы не скользить по верхам, а глубже осмыслить ситуацию? Но что из того, если осмыслю. Смешивают все карты, ломают или устанавливают гармонию всё равно не здесь, а выше.

Я же просто хотел бы слушать эту гармонию, а не анализировать. С меня хватило бы.

ТРОСТЬ ПОДДУБНОГО

Русский язык, с одной стороны, действительно велик и могуч, а с другой — засорен, захватан и автохтонными, и «приблудившимися» его носителями. И в этой своей податливости к нивелировке, утрате отборных кондиций видится вполне юным, подростковым, будто ему и впрямь триста, а не тысячи лет, как украинскому, о чём твердят иные украинофилы.

В литературе же естественно и уверенно писать именно на «великом и могучем», а не на его слабых, обиходных оттенках, особенно трудно. Нужна поистине огромная сила. Иван Поддубный трость двухпудовую носил, не замечая её тяжести, вертя ею так и сяк на прогулках. А попробуй кто другой — неловкое же зрелище!

Так и с писателями — множеству просто не по плечу тот язык, на котором они пишут. Множеству. А уж из новых поколений — и подавно. Может, это я из других, не российских, а украинских огородов так вижу? Но ведь и в Литинституте языковая ткань творчества сокурсников не впечатляла. Какая-то прикладная серость к содержанию, тоже, разумеется, небогатому — ведь что в подцензурном режиме напишешь

полноценного? Мэтрам и тем редко удавалось. Цитата из Глазкова стала крылатой:

*Табун пасём.
Табу на всём.*

А вот мой наставник Егор Исачев в другую крайность опрокидывался — так смаковал именно язык, что был демонстративен в нём, писал, будто красуясь, будто поглядывая в зеркало: «А, каков я? Что ни говори — хорош!» Думалось, идеология ломает бедолаг — представителей и «содержательной», и «языкоцентричной», особенно корневой, от сохи, литературы. Но вот идеологии той нет, а прибавилось ли по-настоящему сильных в русском слове писателей, тех, кто естественно и не напрягаясь может носить двухпудовую трость?

А в Украине, откуда родом Поддубный, как у писателей обстоят дела с родным языком? Ну с этим самым, многотысячелетним? Думаю, что не лучше. А если точнее, то хуже. Безвкусица перехлёстывает через край.

Такая вот общая беда затопила обе страны — могу констатировать это достаточно квалифицированно: как пишущий (и редактирующий уже четыре десятилетия) на русском и украинском.

«ТЕХНАРИ». ПРЕДМЕТ И ЯЗЫК ПОЭЗИИ

Есть у меня стихотворение «Технари»:

*Ух и грамотны эти бестии!
Пишут много, да вот беда —
Ни язык, ни предмет поэзии
Не осияют, увы, никогда.*

*Потому что это другое,
Потому что сойдут в кювет
И столбцы, и вены, и герои —
А Рубцова всё нет и нет.*

Читаю одного из таких «технарей» — и в который раз морщусь. Можно знать больше самого Эйнштейна, но не тащить же, не пускать же всё в стихи!

А тут и рок, и археология, и лингвистика, и геофизика, и даже какая-то доморощенная теория «положительного» сатанизма: путём отрицания, видите ли, идёт себе и Люцифер в храм Господень, а по пути будит ото сна, инфантильности и скуки некую райскую невнятицу — так называемого совершенного человека...

Ладно, для поэзии запретных тем нет. Но есть же понятия отбора материала, следования принципу художественной выразительности, наконец, есть предмет и язык поэзии — да-да, они существуют, хоть в чересчур «широких» умах, вероятно, и не помещаются.

Но постой, говорю себе. Может, это ты воспитан литературно слишком однобоко, может, это у тебя выработан узкий вкус? И надо перестраиваться?

Перестраиваться-то надо, никогда не мешает. Однако звучит в ответ и другое: каждому

надлежит заниматься всё-таки своим делом. К примеру, наговорился лектор в универе — аж язык болит, а пришёл домой — держи себя в рамках приличий, не выплёскивай свой недоговорённый поток в стихи, не засоряй ячейки «информационного пространства», в которых ты профан, самовлюблённое воплощение художественного хаоса и безвкусицы.

Везде ведь должно быть чисто и высоко. И в поэзии особенно. Так считают и многие люди на земле, и существа в небесах.

Почему, скажи, я как твой читатель то и дело понуждаем работать за тебя как поэта, своим воображением собирать воедино твои стихи, рассыпающиеся на случайные составляющие, выдумывать художественные связи в твоей — хоть анемичной, хоть страстной, нет разницы, — невнятице самовыражения?

Зачем мне лезть в грязь, расхлябанность, многозначительную пустоту — и выискивать в них хотя бы намёк на гармонию, цельность, выстроенность, выстраданность, выдохнутость подлинно поэтической мысли и чувства? К чему мне видеть в чёрном белое, причём лишь от долгого всматривания в это чёрное, от неестественного внутреннего усилия над собой?

Совершенствуйся уж лучше в своём основном деле, к примеру, в том же лекторском мастерстве —

а то ведь и там у таких, как ты, ни в чём не «сумлевающихся», не получается быть выразительными и яркими (сколько я издал как редактор всякой научной и технической литературы — знаю, о чём говорю).

И страдает бедный студент, комплексует, что он чего-то недодумкивает.

И изводится читатель, которому внушают массовые выступления «технарей» и «учёных» в стихотворном жанре, что их целлофанный, полуакадемический, затёртый язык и та кондовая материя, о которой они пытаются на этом языке говорить, и есть сама поэзия.

«Исписался» — слышали такое понятие. Но попытайтесь вникнуть в него.

Даже Рубцова одолевали эти тяжкие переживания: во-первых, требовательность к себе была огромная, а во-вторых, работал в том отведённом его талантом художественном континууме (знакомое словцо?), где бесконечных наращиваний объёма качественных текстов попросту не бывает. Кто-кто, а он прекрасно это знал.

Кстати, предмет и язык поэзии — они тоже оттуда, из того ограниченного, очерченного, как у Хомя Брута, круга.

Но что вам этот мелом нарисованный круг? Уже вызван и царит в литературе Вий, и Хома лежит бездыханен, и вам — никогда не исписаться...

ЧТО МИ ШУМИТ?

*Это весна всё подняла, всё
потопила и вздыбила —
бестолочь дней, мелочь надежд —
и показала тщету.*

*Что ж я стою, оторопев?
Или нет лучшего выбора,
чем этот край, где от лугов
илом несёт за версту?*

Олег Чухонцев.

«Зычный гудок, ветер в лицо,
грохот колёс нарастающий...»

Никогда не понимал значимости, которую придавали этому стихотворению чуть ли не с момента публикации в 1972 году...

Нас так ненавязчиво насильовали подобной поэзией, что только и оставалось — одним ухмыляться, а другим помалу начинать верить: нет, не зря такие стихи таскаются в альманахи, обзоры, аналитические статьи, не зря пропагандируются широко, воодушевлённо, с теоретическим обоснованием. А ведь что здесь, в этих длинных, неуклюжих, почти сплошь художественно необязательных строках? Нагромождение пустот, наигранные переживания.

Подкупает разве что внезапно-родимое: «Что мне шумит...» Но и оно вскоре оказывается каким-то захватанным, на глазах плесневеет от несвежего воздуха, приближительности, мировоззренческого и художественного верхоглядства.

*Но и в тщете благодарю, жизнь,
за надежду угрюмую,
за успех и за пример зла
не держать за душой.*

*Поезд ли жду или гляжу
с насыти — я уже думаю,
что и меня кто-нибудь ждёт,
где-то и я не чужой.*

Конечно, жаль обречённого на изгойство лирического героя, чуждого и этим бескрайне-размашистым таинственным палестинам, и этим непонятным людям, их прошлому, их исконному слову, в том числе и «...о полку». Но сейчас, через десятилетия, острее понимаешь: а русской-то поэзии, а русского человека, да себя, наконец, — жальче! Оглядишься вокруг — где это всё? А «совсем другое» ещё больше на виду и на слуху, живёт и побеждает. Вон даже в школьную программу заносится, как будто нет ничего лучшего...

Что ми шумит, что ми звенит
далече рано перед зорями?

ЭССЕ О ДУХОВНОСТИ

ЧУЖАЯ ШИНЕЛЬ

Кое-кому из сегодняшних молодых следовало бы читать Юрия Кузнецова не из интернета, а книга за книгой, публикация за публикацией, чуть ли не в хронологической последовательности. И тем самым глубже вникать в

атмосферу, созданную поэтом и полонившую многих так, что их стихи — чуть ли не сплошной, хоть и не осознаваемый авторами, порой даже талантливый, но всё же перепев кумира: на уровне интонации, лексики, мышления, правда, весьма сниженных. Своё — лишь «лёгкость необыкновенная» в ношении чужой шинели, экстаз, лихорадочная мобильность, когда заводятся от первой всплывшей в памяти строчки поэта и пишут, пишут, «живя как во сне».

Целое поколение растёт, не способное отличать сегодняшнее подлинное от подделки под вчерашнее, вообще оригинальное творчество от растущего из сора — сора воровства, литературных нарказависимостей и вампиризма. Читайте книги, а не пару-тройку стихотворений с монитора компьютера, читайте не холодным умом — и не будете восторгаться переимщиками, эпигонами, а, оттолкнувшись от познанного, пойдёте дальше. И на ложные ценности, на побрякушки уже отвлекаться не станете.

Я нарочно сузил дело до Кузнецова, но в той или иной степени подобное видим и с влияниями Рубцова, Мандельштама, Бродского (этот сейчас особенно в ходу, почему-то преимущественно в женской поэзии) и других выдающихся поэтов.

Остерегайтесь! Даже хильий Башмачкин мстит своим обидчи-

кам, сорвавшим с него шинель. А уж дядьки помощнее незнамо что с вами сделать могут.

ПОД ГНЁТОМ ВЛИЯНИЙ

Иногда думается, что мелко было Михаилу Анищенко в стихах, что он вырос из них или, точнее, перерос изначально. Или просто в чём-то другом был его талант, но не смог проявиться. Бродя в рифмах, как в высыхающей речке, он дал своим творениям по-современному «классическую» лёгкость и глубину. Самым лучшим, конечно; а это лишь несколько десятков. При том, что писал не одну сотню даже за месяц (хотя этому его признанию, сделанному, скорее, для эпатажа, я не верю).

Правда, от кузнецовско-рубцовских влияний он так и не освободился. А в последние годы особо и не пытался, пережив на этой почве длительный кризис в 90-е. Потому что как раз такая стилистика была самой короткой, самой прямой линией к тому, что он хотел сказать.

А хотел сказать многое — и мог, но не до конца получалось. Чтобы именно по-своему, не под гнётом влияний. Чтобы из-за них, этих до поры до времени благотворных, а потом уже и губительных влияний слово не теряло своей ценности.

СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ

Как много постмодернистов — то есть творческих людей, порывающих, без экивоков говоря, с традиционной культурой, предающих её наследие, а в какой-то степени, значит, и свою отчизну, — появилось со времени перестройки, в эпоху «второго пришествия» капитализма на нашу землю. И, кажется, особенно много этих самых «изменщиков» в Украине. «Мазепинцы, нация предателей!», «Этого и следовало ожидать!» — раздадутся критические и злорадствующие голоса.

А может, в этом просто сказались многовековое отсутствие собственного государства — оплота традиций, хранителя духовной идентичности, культурных сокровищ нации? Да ещё нации столь разнородной, подверженной внешним завоевательским влияниям в течение столетий.

Ну и, конечно же, усугубило ситуацию отсутствие подлинно патриотического стержня в самих воспитателях молодого поколения — в «преподах и учителях» разного толка и уровня, в их погоне за заграничными фантиками. Причём погоне, бездумно поощряемой самим государством. Увы, новорождённым и слепым, как котёнок; руководимым извне, а не собственным разумом и историческим опытом, да просто сыновним сердцем, по-настоящему внимательным к родной матери.

Куда же ты смотрел своим всевидящим оком, родной державный «отдел кадров» (понятно, о ком речь), подпихивая наверх одних и не доверяя совсем другим, которые и есть, и были, причём в подавляющем количестве? Зачем наплодил пустозвонов, духовных «лидеров» без родины, без чести, внутренне готовых на любое предательство?

А потому что и сам такой, только и умел нос по ветру держать да упреждать любой чих начальства. А кто оно — откуда, куда, зачем — на выяснение этого у тебя интеллекта не хватало, мало было, видишь ли, всех твоих разведывательных и аналитических центров. Молодца!

Даже в России удивляются такому литературному «ренессансу», который постиг Украину. Причём некоторые вполне искренно восторгаются... Но те, кто понимают чуть больше, лишь усмеваются. Презрительно и — без исторических, этноментальных оснований — злорадно.

2012

ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ

Какие искушения для пишущего пусть даже самые слабые, беспомощные стихи предлагает литературный сайт, например «Стихи.ру». Можешь высказываться направо и налево, не подбирая выражений, невзирая на лица. Особенный зуд — у графоманов,

особенно по отношению к тем, кто хоть немного преуспел в художественном ремесле.

Эта вседозволенность создаёт иллюзию равенства, ослепляет, не позволяет увидеть себя с достаточной степенью критичности: как же, я могу указать даже талантливому на его реальные и мнимые недостатки, навязать ему свой вкус, обозвать хоть бездарью, вообще смешать с грязью, пусть лишь заартачится!

Плохо, конечно, когда цензура и рать редакторов стоят на страже и не пуцают, как было в давешнее время. Но не так уж и хорошо, когда на сайте можно вывесить всё что угодно. И надмеваться гордостью. И не знать, что такое муки творчества. А главное — каковы же они, критерии литературной подлинности.

Из одних силков, подцезурных, — в другие, получается. Из огня да в полымя.

ОТВОЁВАНО СВЯТОСТЬЮ

Это очень правильно — верить в божество, имевшее человеческий облик, то есть бывшее человеком и ставшее святым или Богом. Потому что другой части вселенского божества мы не знаем и знать не можем, только «человеческую».

Мы верим в то, что отвоёвано подвигом, святостью взято у этого неисчерпаемого, непостижимого

божества и как часть нам передано в удел, в наследство. Хотя перед безбрежностью, неизвестностью этого вселенского божества любая часть может быть всего лишь каплей в море.

А вдруг эта капля легко и безразлично поглощается немислимо огромной волнующейся стихией целого таинственного божества? И человек всё равно, даже с его святыми и человекобогом, остаётся один на один перед неведомым, в котором, вероятно, органично смешаны добро и зло и которому там, за пределом, мы, может, и не нужны вовсе? Вдруг будущего нам не предусмотрено, вечности не дано? Да и нужна ли она, с точки зрения высших иерархий? И может ли вообще всё быть так уж «разумно» устроено, как именно мы бы того хотели, как именно мы себе представляем в идеале?

Для вселенского божества, возможно, и разумно всё устроено. Это ведь оно так создавало мир, прежде всего — для себя. Но, но... Опять же — а оно ли, только ли оно? Нет ли и у него ограничений перед чем-то ещё большим, чем оно? Словом, как всегда, ничего не понятно.

И действительно, остаётся верить, надо верить, непременно верить лишь в одно — в Христа, в те селенья, которые Он обещал приготовить своим избранным. Нужно молиться ему и составляющей с ним свою завершённость

Троице, молиться Матери Божьей, всем святым. Иного человеку, жаждущему добра и света, просто не дано. И в этой безальтернативности, в этой невозможности выбора для нас — доказательство истинности христианской веры.

А если будет, может, до обидного мало избранных — что ж, надо порадоваться хоть за них. И даже порадеть, поспособствовать им всей нашей жизнью и смертью. Разве плохой удел? По крайней мере, лучше всякого другого — кроме удела избранных, разумеется...

ШТАМПЫ И ПРОПИСИ

Есть поэты — православные руководства большей частью рифмуют. Хорошо им и покойно, на зависть. Ничего не надо искать, ничем не стоит мучиться, будто благодать почил на них раз и навсегда. А вот «басурманин» Хайям не довольствовался догмами. И выдающиеся отечественные философы-богоискатели — тоже. Поэтому и веришь их «нетвёрдому» слову больше, чем соотнесённому с требованиями церковного ОТК и железному, как штамп. Да и то: перепевы известного, пусть и святоотеческого, дух особо не расправляют — полезнее всё-таки подлинники. Даже самому набожно-прилежному верянину скучно наедине с каллиграфией и прописями в художественной литературе. А ведь тут целое направление

уже выстраивают. Кто? Конечно, «столбы и подпорки» власти.

Новая, постсоветская ниша для искателей идеологической благонадёжности сварганена и расширяется.

ТОЖЕ В ИГРЕ

«Сидоровы-ведагоры» бают, что Христос пришёл взыскать и спасти только гибнувшее Израилево стадо, чьи грехи переполнили геенну и оттуда возоплено было к Богу, чтобы послал к заблуждающимся Мессию. А у русичей, мол, складывалось всё и так неплохо: протекали себе реинкарнационные процессы, никаких тебе рабов Божьих, одни сыновья, всё с достоинством, честь по чести. А многие и вовсе возрастали над собой так, что входили в самые высокие заоблачные чертоги.

Но вот настигла нас беда, откуда и ждали, и откуда всегда настигала — от захода солнца, от ночной цивилизации, от воинов тьмы. Завоевали они нас, люты вороги, духовно и заставили с ними разделить их грехи. В которых мы ну вот совсем не виноваты...

Ересь, чушь? Но как сплетено. Неужели в недрах тайных организаций, вроде русских по вывеске, а на самом деле что ни есть супротивных и злокозненных? Это что же деется — разрывают связь с христианством, с

пуповиной цивилизации, выбирают нас на обочину истории родимцы-родноверы! А раз так, то, может, и власть употребить? Что думают по этому поводу всякие там уполномоченные, в том числе по культам?

Гм. Скорее всего, они тоже в игре — надо же как-то побеждать Запад, если православием не получается.

ПОД ГЛУМ И ГОГОТ

Кажется, у Левашова есть такой красноречивый пример, использовавшийся им в полемике: до крещения Руси в ней проживало 12 млн населения, после — 3 млн. Огнём и мечом, как говорится. Хазарского происхождения. А дальше вся альтернативная история пускается в ход, даже Сергей Радонежский будто бы величайший волхв, вынужденно и искусственно, ввиду поражения, соединивший язычество и христианство, и т. д., и т. п. Кого всё это не смутит? Только того, кто прочно воцерковлён, кто не шатается в истине. Но сколько молодёжи бегаёт на «поганские» семинары, как им нужны контраргументы в спорах с увлекающими их учениями, сектами, извращённой подачей картины мира.

Ведь для многих эта извращённая подача — новая правда, настоящая, веками от людей скрывавшаяся и вот великим озарением

приходящая к теперешнему счастливому поколению.

Счастливому ли? Не обманутому ли? Не ведомому ли скопом прямо в бездну? Под глум и гогот сил, которым, возможно, служил и Левашов. Причём — скорее сознательно, чем по искреннему заблуждению.

ИНТЕРЕСНОЕ КИНО

Передача по ТВ: учёные, исследуя ДНК, сделали вывод, что белая раса произошла от двух десятков «человек», не больше. Экипаж потерпевшего аварии НЛО. А может, специально прилетевшего из обезьян делать людей путём скрещивания и генных манипуляций. Для каких-то инопланетных нужд.

Другие расы тоже были созданы пришельцами. Но другими и для других целей.

Так же и религии привнесены извне и призваны служить всего лишь регуляторами эволюции. То есть тут мы совсем уж остаёмся без Бога...

Интересное кино?

О ДУХОВНОЙ ЦЕНЗУРЕ

Пришлось недавно редактировать книжку журналиста, путешествовавшего по Господним местам. И вот в разгар работы он решил отдать её батюшкам на просмотр, а там и на возможное финансирование. И что же? Всё

живое, непосредственное, радостное — даже на стилистическом, авторском уровне — напрочь исчезло. Появились огромные сокращения и железобетонные, унылые, давно известные и ожидаемые догмы. Для автора это был кризис не просто жанра — сознания. Рукопись забрал и исчез. Перетащили его к себе батюшки или он до сих пор дорабатывает своё детище, не знаю.

Видел я разные, в том числе и очень кардинальные правки своих коллег-редакторов ещё при «застое», но эти превзошли все ожидания. Не думаю, что кто-то из настоящих писателей хотел бы такой «выверенной благонадёжности» для своих произведений.

ЕСТЬ ЛИ ЧТО МИЛЕЕ УКРАИНЫ

*Есть ли что милее Украины —
Над рекой летящих журавлей
И румяно встыхнувшей калины
В седине былинных ковылей...*

Не ахти что. В неполных семнадцать это написал. И прочёл в актовом зале техникума, представляя свою группу на смотре художественной самодеятельности. А уже в последующие дни ощутил прессинг от учебной части и комитета комсомола — такой, что вопрос встал об отчислении. Ведь ещё и огрызался. Комсоргом группы был, да и сам

по себе «правдолюбивый». Комсорг-то комсорг, а главная скрипка — завотделением Энгельсина Кондратьевна Сухова — заняла непримиримую позицию. Спас земляк, тоже завотделением, но заочным, Александр Фёдорович Бутов, к которому приехал отец и имел с ним беседу.

Через годик, на вылазке у коистра, секретарь комитета комсомола техникума (эта «с утерянной фамилией») удивлялась при всех:

— Да ты, оказывается, нормальный человек...

И только через десятилетия до меня дошло, что я тогда был, ни много ни мало, «националистом», и мне, может, даже шили дело.

Тысяча девятьсот семьдесят второй, усиленные поиски и посадки украинских диссидентов... Возраст меня спас, ведь и семнадцати не было? Или достаточно очевидная невинность стихов, да ещё и на русском? А может, и впрямь Александр Фёдорович?

Не знаю. Отец не рассказывал подробностей. Руководитель группы, Михаил Антонович Заяц, тоже ничего толком не объяснил. Похоже, замяли для ясности.

А то бы — если хорошенько «помечтать» — знали меня и здесь, и в канадах. И принимал бы сам Брайан Малруни, осыпая грантами и премиями. Сладкий сон.

Конечно, сначала там, где Макар телят не пас, надо было выжить. А это, к сожалению, при

моей склонности к простудам и глубинному социальному скепсису вызывает сомнения.

ЛЕНИН ИЗО ЛЬДА

«Застой» прекратился, началась перестройка. В нашем региональном издательстве тоже пытаются не оставаться в стороне. Одно из ноу-хау — перекрёстное чтение и обсуждение выпущенной продукции всеми редакциями, а их четыре: художественной литературы, общественно-политической, производственной и туристско-краеведческой.

Несмотря на повальное обновление где-то там, за пределами, — нравы в издательстве не меняются: уязвить, а не покритиковать конструктивно, перепатриотичить, а не полюбить ближнего всем сердцем. При этом к нашей художке придраться можно с какого угодно боку, только умей передёргивать. И отдельные коллеги усердствовали.

Ну и выиграла в нас, затюканных, мстительная страсть. Заведующий заставил каждого редактора читать чужую серую скукотищу бдительно и выступать на собрании остро. Недолго думая, нашёл и я у соперников по соцсоревнованию перл и попробовал показать его в полном блеске.

Туристы-краеведы, к нам особенно въедливые, пропустили в

печатать картинку всеобщей скорби по Ильичу в январе 1924 года, а именно: крестьяне, за неимением более подходящего материала, высекли из льда скульптуру вождя и поставили на видном месте. В общем, обычное и довольно массовое дело в те времена.

— Всё это хорошо и трогательно, — сказал я с трибуны. — Сделали люди памятник из льда — и ладно, мало ли что тогда было. Однако зачем же сейчас нам тащить подобное на печатную страницу? Куда смотрел редактор и все контрольно читающие за ним ответственные лица?

В зале притихли.

— Разве трудно было заглянуть на пару месяцев вперёд? Уже с первой оттепелью ледяная скульптура превратится в непонятно что, а потом и совсем растает. Исчезнет. Только мокрое место останется. Так что же это? Может, идеологическая диверсия? — многозначительно подвёл я итог.

Засмеялся только Леонид Наумович Каминский, еврей, умница, к которому все бегали за советами и которого дальше, чем заведовать редакцией общественно-политической литературы, в этой жизни так и не пустили. Не в последнюю очередь, наверное, потому, что способен был при всех смеяться по столь неоднозначным поводам.

Наш заведующий, например, сидел с буроватым лицом и молчаливо: не слишком ли вольно его редактор разбирается со святынями? А вдруг дело примет нешуточный оборот?

Но всё закончилось ничем. Как впоследствии и сама перестройка. Которая тоже оказалась Лениным изо льда.

ПРЯМИКОМ НА МЕЛЬ

Бахыт Кенжеев... Стихи — как лёгкая, приятная, свободно льющаяся ассоциативно-психологическая прозочка. Откухонная, не отприродная. Читать и знать, что ответа не будет, а будут обман, игра, пасьянсное времяпрепровождение, — нет, не хочется. Становится порой даже противно.

И обидно за поэзию: это же возведённые на мировой уровень мягко-сладостный инфантилизм и многословие. А тем не менее, слава какая! И она, казалось бы, ко многому обязывает. Но к чему именно — такой поэт не поймёт. Тем, впрочем, и счастлив.

Твори же, трубадур, мастерзингер! Обманывай, внушай незрелым, что так оно и должно быть. Ведь за это и потчуют тебя премиями, популярностью, раздутым авторитетом могущественные держатели рынка литературы.

Ты поставлен и сияешь ложным маяком для многих во мгле — чтобы они прямоком на мель.

НАС «МАЛО»

Николай Малашич с гордостью писал, что редкая птица долетала... тьфу ты — что редкие единицы в Литинституте с отличием защищали свою дипломную работу, своё творчество. Вот он, в частности. В 1976 году. Кто ещё? Да пожалуйста: до него «за сорок два года на то время существования Литинститута такой чести удостоились семь поэтов. Среди них Симонов, Егор Исаев... Николай Рубцов был седьмым». А вот Ахмадулина, Рождественский «не вытянули на 5 баллов», едко замечает Малашич.

Как всё дотошно посчитал. Но что хочется сказать в связи с этим? Симонова, конечно, народ знал и знает, Рубцова — меньше, Исаева — чуть, а о Малашиче слыхом не слыхал.

Кстати, как и обо мне. Ведь я тоже один из тех «счастливицев», которые пятёрку за дипломную получили. Но на несколько лет позже Малашича. Зато в семинаре не абы кого, а «отличника» Исаева. «И что? — спрошу я неведомую силу. — Где я, а где по-настоящему известные хорошисты и троечники?» Дистанция огромного размера.

Но уязвлённое русско-украинское самолюбие и во мне иногда прорывается, как в Малашиче. Я с Луганщины, он с Черниговщины. Правда, всю

взрослую жизнь он прожил в России, служил ей как офицер и поэт, славил. И всё-таки наше, здешнее — вплоть до означенных выше затаённых комплексов — скребло душу. Незадолго до ухода написал:

*Усталый, после долгих дум,
в своё село, в своё спасение
вернуться мне пришло на ум.
А так ли надо возвращение?
К кому приду? Зачем приду?
Там нет ни хаты, ни сарая.
Покой в любой земле найду.
Она везде, земля, сырая...*

Несмотря на шероховатости («усталый... вернуться мне пришло на ум» или неуклюжее в философском контексте «так ли надо возвращение»), в целом перед нами пронзительные, сильные строчки. «В любой земле...» — понимаете, как много покинутости, отчаяния?

Не только последнее безверие повергало в уныние этого русского поэта с украинскими корнями и характером, но и другие, советские годы. Когда тот же Исаев выходил массовыми тиражами, однако читался отнюдь не широко, а, наоборот, ощутимо узко.

У меня, конечно, есть версии, почему разминулся со «всенародной любовью» сам Исаев. Но в короткой заметке о Малашиче и других, которых «мало», зачем

эти версии ворошить? Всё равно, что очевидную, плохо заживающую рану расковыривать и показывать — смотрите, какая она.

КНИГОЛЕНД

Чистых голосов — на пальцах перечесть. Смутьянства, надрыва, причём искусственно подогретого, кавалерийских наскоков на тему и слово, плевков в стилевую опрятность — сколько угодно.

— А потому что пиплу нравятся. А потому что пипл сам такой.

— Ой ли?

Но вот зашёл в «Книголенд» (само название — шик): то секс, то чернуха так и мелькают зазывно на обложках ходкой рыночной литературы, вытеснившей всё противоположное, «непродаваемое» из числа современных книг. Но непродаемое-то из-за чего? Из-за продажной книгоиздательской политики и общей идеологии государства. Классику, правда, оно теснит пока осторожно. Но ничего, дай срок — и с этой архаикой разберутся буйно властвующие гангстеры и мафиози.

Хотел спросить в магазине: а не поставите рядом с Дерешем пару моих книжек? Но постеснялся. Оно ведь и по закону, видимо, не полагается — ты же с улицы, ты почти бомж в литературе, кто тебя возьмёт, да ещё в «Книголенд». Надо пройти все чистилища, чтобы чин по чину,

более иррациональны — и тем самым чаще достигают своего преображения. Пусть и полубожественного, не отрывающегося от телесности, происходящего не так искомо высоко, как хотелось бы русским духу и слову, — всего лишь, скажем, на третьем небе, как у Савла-Павла, а не на седьмом и выше.

И всё же приходится признать, сколь бедна была бы без Пастернака и Мандельштама русская поэзия, даже самые чистейшие, самые стихийно-природнейшие её образцы. Тот же Тютчев, отгённый и одновременно освещённый этими именами, был бы вселенски сиротливее, а может, и «богоставленнее» — этакая пугающая одинокость в надмирном вакууме.

При всём при том понимает ли Тютчев «там и всегда», что эти двое пришли отнюдь не возвеличить его, а воевать с ним, подчинять себе его пространства. Наверное, понимает — и то стонет, то огорчается до отчаяния, то предлагает мириться. Они, его оппоненты и чужеродные пришлецы, мирятся, конечно; однако лишь на время, для передышки. От своего «я» — войны и победы, от окончательного подчинения себе всё новых территорий они не откажутся никогда.

Тем более что так крепко зацепились, укоренились на этой почве, так много сделали и возделали на ней. Не бросать же всё

гамузом, чтобы уйти и потрудиться уже где-нибудь в ином, воображаемо более златном месте. Это кочевникам каким-нибудь прилично, но не властителям вещного мира сего, который всё более наполняется их дрязгом и производными от него ценностями. Глядишь — да и сверкнут эти ценности, словно настоящее золото; более того, настоящее золото неким непонятным, алхимическим образом они даже и производят иной раз из своего родонаследного дрязга.

«Когда б вы знали, из какого сора»...

Мог ли Тютчев мыслить в подобных плоскостях и так написать? Скажут о пушкинском «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...», но мне кажется, это из ряда чуть повыше. Даром что Пушкин в своё время особо-то и не воспринял Тютчева...

ИНОСТРАННАЯ ЗВЕЗДА

Случайно перечитал сегодня «В разведке» Светлова.

*Ночь звенела стременами,
Волочились поводы,
И Меркурий плыл над нами,
Иностранная звезда.*

Как-то вдруг по-новому заиграли эти строки, какими-то новыми смыслами наполнилась вся

баллада, знакомая с детства, любимая в юности.

Прозрел, жертва манипуляций? Прозревай сколько угодно — а дело сделано, и твой поезд уже уходит, если не ушёл. Кто в очереди за таким же билетом?

Хотя погодите, ведь наговариваю на себя. Кроме этих стихов да ещё «Гренады», ничего из Светлова мне особо не помнится. А чтоб уж совсем основополагающе он входил в моё сердце — этого никогда не было. И название звезды — Меркурий — тоже с самого начала не нравилось. Хотя как она называется по-русски, до сих пор не знаю, увы. Всё не до этого было.

Мало, получается, в небо смотрел с родной земли-то!

НО ВСЁ-ТАКИ...

Сидит Ручкой на передаче по ТВ об октябре девяносто третьего, до сих пор прав. И ни ноты покаяния. Это же ты вверх людей в бойню, а сам вышел сухим из воды. О Ельцине нет разговора. Тупая, бездушная машина для убийства. Но ты?

Обманутые люди, множество молодёжи, среди них — почти дети... Уводили в сторону, отделяли от депутатов и от других «с корочками» (мол, смотрите, что вы спровоцировали) — и резали, резали из автоматов десятками!..

Конечно, кто только и куда только не увлекал народы во все

времена — и погибали люди бессчётно. И что же, всем таким водителям масс — анафема?

Скорее да, чем нет. Тем более что ничего хорошего почти и не выходило. В очередной раз попищаются вволю тёмные духи кровушкой людской, будто для них мы только и созданы, им в пищу, — вот и все глобальные итоги.

Прости, Господи, чту подвиги и преклоняюсь — но всё-таки...

БЕЗ СОБОРНЫХ КЛИШЕ

Львовские писатели к своим коллегам, допустим, из Харькова относятся как к недоукраинцам и слово их считают неполноценным, заражённым российской ментальностью, проникнутым враждебной духовностью, чуждым лексическим строем и т. д. Терпят, пока так надо, пока вынуждают обстоятельства, но потом будут вышвыривать вас из литературы, братове, без церемоний. Да вы и сейчас в загоне. Двух-трёх персонажей такой огромный город не может достойно представить на литературном небосклоне именно украиноязычной Украины. Какой рецепт? Придут другие поколения — и будут более естественно и широко вращаться в контекст, где доминирует Львов, даже не Киев. Однако вряд ли безболезненно будут вращаться, то есть не без вот этого нашего чувства второсортности, униженности и угнетённости. Тогда что,

какой выход видится уже сейчас? Готовить намордники для особо отличающихся с полонин и груней? Нет, общей атмосферы это тоже не изменит. Всё равно будем купаться в их самодовольном суржики, употреблять слова, которых на Слобожанщине днём с огнём не сыщешь и на которые наталкиваешься почти в каждом их абзаце, — так и хочется сразу отложить книжку в сторону.

Хорошая, перспективная правда? Но мне представляется, что она именно такова, если говорить начистоту и без идеологических, скажем, соборных там и прочих табу, клише и передёргиваний.

Кручинюсь и соболезную родному полтавско-надднепрянскому наречию, вынужденно принимаю эту данность, а не восстаю по-донбасски или злорадствую — пусть поймут меня правильно.

«ХРАНИ ГОСПОДЬ...»

Прочитал «Митино счастье», рассказ Нины Бойко, писательницы из Пермского края.

Уже несколько дней под впечатлением. Удивительно полифоничная вещь.

В каждом абзаце какая-то художественно-смысловая находка, что-то вдруг да обязательно цепляет, усиливает внимание — и уже через несколько таких абзацев ты полностью во власти рассказа.

А «полонить» стихотворца да ещё книжного редактора, который устал за сорок лет от текстов и с боязнью смотрит на любой новый с его множеством букв, — это надо суметь.

Герой в «Митином счастье» — некое олицетворение большого общества России, большого и физически, и психически. Митя — человек верующий, мать и отец у него бывшие уголовники, вечные зэки. Что чуть ли не естественно для пермской глубинки с её лагерями и социальными проблемами. Неожиданное врачевание для себя похмельный и прикованный к заботам о больной капризной матери Митя ищет в подвернувшейся поездке в монастырь вместе с давними, ещё школьными знакомыми.

Нина Бойко талантлива, она чурается изысков, мастерство её первородно, дышит свободой и убедительностью. В рассказе всё точно, экономно и естественно, ни натяжки. Принимаешь, кажется, каждое слово, каждый поворот мысли. Приведу лишь несколько «маркеров», мгновенно откликающихся в сердце, то есть в особенностях и моего мировосприятия, — эта россыпь получится, конечно, мало связной, но представление о рассказе, о его широте и нравственной проблематике всё-таки даст.

«Про книжку забыл, я верну, я уже прочитал. Хорошая.

До середины... Дальше у автора отслоилась душа. Сразу же свет потерялся».

(Вот как Митя разбирается в литературе, хоть в университетах, понятное дело, не учился).

«...у батюшки шестнадцать детей, так что войдешь в его дом — обувь, обувь в сенях... И Митя, слушая о батюшке, думал, что в этом и святость — в чистоте, а значит, и в правде».

«Люди не понимают добра. Очевидно, от вечной жизни под палкой».

«— До слёз вчера довела (мать. — А. К.), напился. Противный я был? Ты видела? Стыдно пить, стыдно плакать...

— Пьётся — пей. Плачется — плачь».

(Так говорит Мите Лида, бывшая одноклассница, умница, простой и трогательно светлый человек).

«Митя экскурсии не захотел — что-то мирское, суетное вторгалось в это святое место, и само слово «экскурсия» царпало сердце».

«И то, что Митя стоял — было естественным, ведь даже тогда, на речке у бабушки, маленький Митя вскочил перед Ним!»

(Это о том, почему католики сидят при богослужении, а православные молятся стоя).

Затронутая в рассказе религиозная тема по мере повествования не получает ни единого налёта сусальности, а с жёсткой реалистичностью переходит в плоскость злободневных социально-нравственных проблем: Митю неприятно поражает дух торгашества в храме, а особенно то, что заслуга в приобретённых монастырём новых колоколах, на которые собирали всем миром, персонифицировалась в губернаторе и вылилась в благодарственную надпись именно ему на одном из колоколов... Ближе к финалу я напряжённо думал, чем же, как может решиться рассказ — и ничего не мог предположить. И вдруг:

«— Митя!.. Колокола не зря стоят на земле. Их отлили неправильно, голосовые частоты не совпадают с теми, какие приняты Церковью. Мне монашек сказал, который на стройке работает. Все три колокола будут переплавлены. А пока переплавят, пока суд да дело, Игумнова сменит другой губернатор; незачем будет чеканить «храни Господь...». Митя! Ложь имеет свойство потешаться над своими хозяевами! — Лидочка засмеялась».

Чисто и хорошо, хотя понятно, сколько другой боли и безысходности остаётся и ещё умножится в чуткой и глубокой душе Мити, каким горьким, полным испытаний, до конца не понятных никому — за что они и зачем, будет всё его последующее «счастье»...

СВЕРХУ И СВЫСОКА

В ЖЗ, куда, как известно, почвенников не особо пускают, наткнулся на «славянофильское» стихотворение о непутёво живших и вот едущих на телеге на тот свет пьянчужках, коммунально-бытовом отребье, мелких склочниках, духовно низких, безнадёжных людях. И будто сочувствует им автор и желает, чтобы сбылись их мечты о том рае, каким они его себе представляют. И столько подробностей, щемящих и неприятных, в неторопливо и широко льющихся словах, что помалу тонешь в них и подспудно веришь: никакого второго плана здесь нет, одно милосердие и любовь к людям, вслепую и безвольно прожившим свою жизнь.

И вдруг выныриваешь из затягивающего потока! И, жадно вдыхая свежий воздух, понимаешь: да ведь это же взгляд на непутёвых и несчастных сверху и свысока, снисходительный и полный презрения взгляд на бядло-массу. И напиши это кто другой, вряд ли бы так прочиталось, но автор-то

именно из тех колен, кто вплотную управлял нашими бедными людьми, их отцами и дедами чуть ли не целое столетие...

Причём знаю, что сей стихотворец нигде и никогда всерьёз не работал, ну так чтобы на службе, от звонка до звонка. Ни одного дня! Сорок лет на вольных хлебах, и при совласти, и опосля. Казалось бы, провинциальный виршеписец — какие заработки? Но бедолагам, которые трясутся на телеге в свой рай, где они хотят в изобилии водки да селёдки, такие доходы и не снились. А главное, где им, дальше своего носа не видящим, знать о той безграничности жизни, которая даётся лишь её хозяевам!

Или ничего особенного там нет, за душой-то у этих хозяев? Может, ограблены ещё больше, чем мы? Поскольку нас грабили и грабят другие, а они — сами себя. Испокон веку. Тем, что так эгоистически кастово понимают мир и утверждают единственно себя в нём. Это же надо так изуродовать свою душу...

— За себя переживай, — слышу их ответ. И вижу всё ту же снисходительно-высокомерную грамису.

ОБЪЯСНЮ НА РАЗ

Вряд ли советские ортодоксы включили бы роман в стихах Лины Костенко «Маруся Чурай»

в школьную программу. И даже не из-за какого-то там диссидентства поэтессы. Просто герой для воспитания школьника не самый подходящий, исторические картины депрессивны, вывод о будущем, которое зиждется на плачевном прошлом, у незрелых умов может сложиться нерадужный. О каком изучении в школе подобных произведений может идти речь? Вне класса — пожалуйста. Да и то ещё надо подумать.

Но у наших президентов других писателей нет. И у нашей страны нет другого прошлого. И всё новые и новые школяры на все лады читают и прочитывают повествование о том, как создаёт выдающиеся песни девушка из народа. Как пытаются отравиться из-за несчастной любви к не самому достойному персонажу, но по ошибке смертельное зелье выпивает именно он — и умирает. Как потом судят её. И как спасает обречённую Богдан Хмельницкий своим универсалом. Как полыхает Украина. И как всё равно вскоре гаснет от болезни избежавшая виселицы Маруся Чурай — песенный голос, нежнейшая душа нации. Не преодолев личного несчастья и не творя с двойной, так сказать, отдачей для блага окружающих, столь же измученных и нуждающихся в воодушевлении, как и она сама.

Опускаются руки у штудирующего программную вещь дитяти.

И никакой Франко, бодро высекающий революционную искру из камня, не может их поднять. Тем более что Франко теперь изучают тоже больше через минор, дабы знал ребёнок, в каком грустном мире он живёт, в какой стране.

А вот, допустим, тот же министр образования УССР, легко всё это предвидя и вычисляя, вычёркивает роман в стихах из списка произведений, предлагаемых в школьную программу. Занавес запахивается, едва приоткрывшись. Душа юного украинца директивно освобождается от тяжёлых кармических наработок отечественного прошлого. Он живёт радостно и розовощёко. А сам министр спит спокойно, не ожидая назавтра горящих шин у своего министерства. И у других руководящих зданий во всей своей свободной и счастливой республике. Потому что всё хорошо, прекрасная маркиза, и народу нечего исправлять путём революций.

«КОЛЬ БЫЛИ Б НЕ РАБЫ...»

У многих наших людей то и дело прорываются нотки ностальгии по тому светлому, что мы узнали и закрепили теперь уже на генном, невытравимом уровне; по всему тому, чего никогда не было на Западе: мировая, вселенская ложь там срабатывала надёжнее, без таких страшных для неё сбоев, как у нас, вкусив-

ших в «застойное» время пусть и зелёных, но плодов лелеемого человечеством в мечтах золотого века.

Именно отсюда, из жажды равенства и справедливости, происходят майданы — только чистые, без агентурных примесей, то есть всякий подлинный народный протест, а не прихлебательские внутренние и международные его составляющие.

...По каналу «Ностальгия» посмотрел какой-то давний съездовский доклад Горбачёва о перестройке. И каждое слово вдруг воспринялось, вспыхнуло по-новому — стало понятнее, чем раньше, до запятой, до самой увёртливой закорючки: вёл, вёл сознательно и вероломно к разрушению, к замене одного строя другим. А накануне вечером ещё и Лигачёва «прокрутили». Подтверждает: не признавал Горбачёв — конечно, в узком кругу соратников — возможностей развития социализма. Только демонтаж. А у меня, тьфу ты, несколько лет назад, в какую-то совсем уж горькую минуту стихи написались — «Осанна Горбачёву». Что с ними делать? Уже и в книжке пропечатал...

*Сквозь хитроумья Плана
Взираешь удручённо.*

*Но вспыхнет вдруг: — Осанна!
Осанна Горбачёву!*

*Ведь — надо. И возможно.
Коль были б не рабы...*

*И кроешь вновь острожно
И карл, и их горбы.*

Хотя если с чувством, с толком, с расстановкой ещё раз прочесть — не стихотворение, а короткую историю «катастрофки», то, может, и впрямь откроется, что не столько Горби во всём виноват, сколько наше карликовое самосознание и рабские горбы.

Даже к двухмайданной Украине — по прошествии стольких невероятно поучительных лет оскудения и борьбы (к сожалению, не за социальную перспективу) — это относится.

В БОРЬБЕ ИЕРАРХИЙ

Рубцов, Прасолов, Примеров... А сколько других...

Кто доверился России, сделал её всем существом своего творчества, всем содержанием своей духовной жизни — был обманут ею, может, как никто другой.

А вот либералы весьма дистанционно и очень критично выражали ей свои чувства, порой и любовь, — и что же, как раз они то и оказались правы? Или и тех, и других Россия «равно приветствует своей всепоглощающей и миротворной бездной»? То есть вполне равнодушно.

Как бы ни было, а слишком близко к ней подходить не стоит, тем более — в ней растворяться: к такому особенно безжалостна. И брызжущим, солнцеворотным светом, счастьем сотворчества, восхождением к самым заветным, богообещанным высотам не оделяет. А будто мстительно скидывает вниз. За что?

Может, именно свои несут в себе какую-то древнюю, тайную измену по отношению к ней, к её первородному, а не исковерканному коду? Или она ищет совсем другого — большего, чем то, что представляют собой эти свои? Как бы прекрасны и воодушевляющие жертвенны они ни были.

А вдруг дело обстоит гораздо проще — и это Бог ревнует к ней любящих её? Ревнует как к чему-то более низкому в иерархиях родства, нежели он сам. Ну и вразумляет чрезмерно рьяных — наказанием.

Что ж, коли так, то тем чище и выше, тем безупречнее она для своих сыновей. Даже с каждой новой потерей самых лучших.

СЛОБОЖАНИН

Варились ли вы в украинском разговорном, сиречь суржике, когда стыдно перед собой за пользование им, когда неудобно перейти на чистый русский или чистый украинский — и перед собой неудобно, и перед носителями суржика, в общем-то, твоей

каждодневной средой, да что там — твоими родителями, например, или вот братом и сестрой, между прочим, с высшим образованием, но тоже вынужденными коверкать язык, чтобы не прослыть «дуже грамотными», чтобы кто-то не сказал: «Вывчили на свою голлову». Есть у людей все человеческие чувства, а сказать о них трудно, неуклюже как-то получается, и от этого стыдно уже чуть ли не перед самим Богом. Сколько комплексов у каждого мало-мальски не толстокожего! А как стихам рождаться?

*Вопрос не обозначит,
не вымычит ответ, —
На суржике ни плача
и ни восторга нет.*

Так вырвалось когда-то. Неправильно вырвалось, усечённо, односторонне. В сердцах и обидно для людей. Но любовь к этим людям, к этой земле, к тем духовным богатствам, которые в них и проявляются, и таятся, я всё-таки выразил, думаю, во многих других стихах.

Так что да простится мне.

НУЖЕН ЛИ Я ТЕБЕ

Горчайшая печаль залегла в сердце у того, кто не может с полным правом сказать о себе: родина меня любит, я ей нужен. И эта родина не обязательно люди. Меня любит деревце, трава на вон том

склоне, знакомая с детства линия горизонта, переплывающее через неё облако... Иллюзия? Но если её нет, появляются сокрушение, ущербность, обида на судьбу, на что-то высшее.

А стихотворец — он ведь, пожалуй, как никто другой ищет поддержки у родины, единения с ней, служения — особенно тайно-посвящённого, экстатически-молитвенного. И если его этого постепенно или вдруг лишают... Поневоле он в отчаянии начинает думать, что родина — это лишь понятие, а не живое существо. Чьё сердце она утолила сполна, от кого не отвернулась, кого не обманула? Разве того лишь, кто до конца не смог избавиться от самообольщений. От понимания, что она фантом, идея, которая хоть и может воспламенить, но по сути ведь ненадолго. Отвернулась ли от тебя, отняли её ближние или сама себя изжила в твоём сознании — что за дело до этих нюансов! Главное, ты уже готов предоставить освободившееся

место для других заблуждений и других реальностей. То есть чуть ли не расстаться с белым светом... Горько.

Прости меня, родная, помнишь, мне, о нет — нам! — писалось ещё вчера:

РОГОВО

*Как это странно, что в итоге
Один мне вытисан маршрут:
Едва подумаю о Боге —
Все чувства к родине влекут.*

*Ну что такого там — ни части,
Ни золотых, ни прочих пут...
Едва подумаю о счастье —
Все чувства к родине влекут.*

Если б ты понимала, что это стихотворение не передаёт и тысячной доли того, что можно думать, испытывать по поводу отношений с тобой, чем может быть наполнено до краёв или высушено до капли на доньшке сердце.

Не молчи же, ответь: нужен ли я тебе?